

Эта книга обречена на успех, потому что расположена на пересечении двух тем — Бродского и русской эмиграции. Скажем больше: она интонационно завершает обе эти темы. Смерть Бродского, конец эмиграции как проблемы выбора (дело теперь свелось к цене на билет), конец века. Этими привходящими обстоятельствами оправдан торжественный тон книги: в ней нет иронии, ее структура включает несколько самостоятельных небольших книг, отношения между которыми и составляют сюжет всего сборника. Его можно вкратце описать как создание и разрушение мифа.

«О Пушкине и его эпохе» — так называется первая глава книги. Сопоставление великого поэта с величайшим проводится спокойно и даже буднично — от сличения судеб до сличения ролей в культуре. Поневолу вспоминаешь, с какой ненужной осторожностью столетие назад критики сравнивали еще живого Чехова с уже бронзовым Гоголем. И вот — жизнь качнулась влево. Бродский подается не только как *Пушкин сегодня*, но и как *Пушкин вовне*, всемирный вариант поэта.

Вместе с тем даже невнимательный читатель замечает в тек-

# Трещины на мраморе

*Бродский, о Бродском и около Бродского*

*Русский телеграф, — 1998, — 4 марта — с. 10*

сте нарушение некой пропорции: Бродский приравнивается к Одену и Фросту; Пушкин для нас то же, что для англичан Шекспир, но Одена и Фроста, насколько я понимаю, никто напрямую не соотносит с Шекспиром. Далее тот же читатель находит рассуждения Петра Вайля о существовании в США прослойки, соответствующей русской интеллигенции. Это вызывает улыбку, так как Вайль исходит из жизненной коллизии (читающий пожарник, а не из не зависящих от нее ментальных констант. Из оговорок прорастает по-своему замечательная среда интеллектуального Запада, ее русско-славистская грань (чего стоят, к примеру, названия книг одного из авторов рецензируемой книги: «Достоевский и искусство исцеления: опыт литературно-медицинской истории» и «Россия Фрейда: вопрос национальной принадлежности в эволюции психоанализа»).

Лейтмотив книги — английский Бродский, о котором русский читатель должен составить

косвенное впечатление. Судя по первым свидетельствам, это победитель конгениальный известному нам гениальному русскому поэту Иосифу Бродскому. Но — на размашисто высеченном мраморном памятнике мгновенно появляются трещины. Сперва — горькое определение поэзии как «того, что не поддается переводу». Потом — удивительный список достоинств английских стихов Бродского: «Терпкий юмор, христианская тематика, остроумие высшего порядка, изобилие афоризмов и техническая виртуозность». Не правда ли, такое говорится, когда нечего сказать всерьез; эти слова могут быть отнесены к Д.А. Пригову. А велед за списком достоинств идет список недостатков, который неловко приводить.

Одолов первую треть книги, читатель ощущает себя умнее обоих составителей. Апология космополитизма (в нейтральном, если не позитивном значении этого слова) им явно не удастся. Получается исповедь Зазеркалья,

Довлатовский абсурдный космос без Довлатова. Сквозь сусальную наполеоновскую историю видится совсем другая.

О человеке, имевшем наличные (в неконвертируемой валюте) и вынужденном расплачиваться по чеку. О поддержании косвенного авторитета косвенными средствами — лекциями, небесспорной эссеистикой, теньными английскими стихами и переводами. Об отсутствии контакта с читателем — как и положено поэту-эмигранту. Но прелесть книги в том, что ближе к середине, в основном усилиями В. Полухиной, мы погружаемся в подлинную историю, и все продуманное нами артикулируется. Мы летим внутри трещин, как в голливудском звездолете. И девизом книги становятся слова Бродского: «Говорите, что хотите, со стихотворением ничего не случится».

Что еще запоминается? Невропатологическая европейская пошлость покойного сэра Исайи Берлина: «Но, скажем, вы обыкновенный почтальон и живете в те времена,

к примеру, в Штутгарте. Время от времени, когда мимо проходят эсэсовцы, вы должны восклицать «Хайль Титлер» и приветствовать их нацистским салютом. Но кроме этого жизнь продолжается нормально, никакой разницы нет». Интересная, но уж чересчур самодостаточная повесть Кушнера о дружбе двух поэтов. Вообще, последняя треть книги уже приобретает характер комментария. Течение уходит под землю.

И последнее — короткое размышление о перспективах московской судьбы книги. Москва вспомнута в ней трижды, и каждый раз как глухая провинция. Петр Вайль с самого начала жестко постулирует: со смерти Ахматовой на протяжении 30 лет Бродский — единственный живой классик. Но московские поэты, как-то не сговариваясь, чаще вспоминают Арсения Тарковского — а Зазеркалью он, вероятно, неведом. Впрочем, время рассудит.

**Леонид Костюков**

*Иосиф Бродский: труды и дни/ Редакторы-составители Петр Вайль и Лев Лосев. М.: Издательство «Независимая газета». 1998.*